



Фото Николая Домрина

Скоро сказка сказывается. А сказ и того скорее. В вакуумной безмолвии космической бесконечности движется астероид номер 4741. Имя его...

АСТЕРОИД ЛЕСКОВ

Начиная разговор о гениальном русском писателе, 190 лет со дня рождения которого исполнилось в феврале этого года, ищешь глазами и сердцем отправную точку: от чего оттолкнуться, от какого урочного дня или событийного часа из недолгой, полной «всяческих терзательств», но такой творчески насыщенной жизни Николая Семёновича? Недаром ведь Лесков испытывал страсть к часам, собирал их, был их настоящим ценителем и даже подписывался иногда — Любитель часов. Так с какого же лесковского рубежа — во времени и пространстве — взять разбежку?

Может быть, восхититься редким солнечным днем в Петербурге, когда Николай Лесков — уже известный писатель — мчит-ся на санях, как он очень любил, весело глотая искрящийся морозный воздух, к другу и благодарному собеседнику Никите

Севастьяновичу Рачейскову — «художному мужу», иконописцу-самородку. Далече жил мастер иконописи Рачейсков и быт вёл самый аскетичный. Сын Лескова Андрей Николаевич в проникновенной книге об отце вспоминал: «Отец, бывало, как выйдет из саней, прямо к окну — и залюбуется на него (своего друга. — Прим. авт.) через какую-то снизу подвешенную дырявую завесочку. Всего лучше была голова: лик постный, тихий, нос прямой и тонкий, тёмные волосы серебром тронуты и на прямой пробор в обе стороны положены; будто и строг, а взглядом благодетен. Речь степенная, негромкая, немногословная, но внятная и в разуме растворённая». Уж не образ ли Ивана Северьяновича Флягина, героя повести «Очарованный странник», зарождался-вырисовывался в подобные минуты у Лескова?

Или же махнуть на Орловскую землю, в тихое имение Панино, близ городка Кромы, в благословенное среднерусское лето — лето 1839 года? Кромы — город

Астероид (4741) Лесков открыт в 1985 году Людмилой Георгиевной Карачкиной, астрономом Крымской астрофизической обсерватории.

из Летописей, на кромке лесов дремучих укоренившийся, землю русскую берегущий, в одном ряду с Москвой и Тулой, с Курским почтовым трактом летописцами и историками поминаемый. Как зелено, как привольно здесь, как живописен бережок прозрачной речки Гостомли. И каких чудесных пескарей можно удить вместе с местными мальчишками. Поскорее бы забыть большой, но мрачноватый дом в селе Горохове, принадлежащий суровому и властному дяде Лескова — Михаилу Андреевичу Страхову, человеку весьма набожному, в дворянских кругах почитаемому, никаких возражений себе не терпящему. И имеющему о воспитании детей весьма своеобразное представление. Лесков, родившийся здесь, в Горохове, в детстве очень боялся молний, и чтобы развить в трёхлетнем мальчишке «мужество», Михаил Андреевич однажды выставил племянника на балкон во время сильнейшей грозы и запер дверь. Но теперь можно выдохнуть с облегчением — все грозы над здешней речкой заканчиваются радугами, не нужно бояться и не нужно, кстати, днём и ночью готовиться к бесконечным домашним урокам — первоначальное образование Лесков получил как раз там, в дядином доме, от домашних учителей. И какая же это радость, оказывается, весело бежать с ореховым удищем ловить гольцов и пескарей, болтать с друзьями, прислушиваться к иногда грубоватым, иногда по-народному метким и ёмким крестьянским речам. А ещё — пить воду из чистейшего родника, бьющего тут же, из бережка речного. Животворящая водица, чистейшая. Лескову — восемь. И он жадно впитывает, вбирает в себя сам дух и склад народного миропонимания. Он, может быть, впервые в жизни, по-настоящему счастлив. Рядом родители, Семён Дмитриевич и Мария Петровна, и братья с сёстрами, среди которых Николай Лесков — старший! «Восторг мой не знал пределов, — признавался гораздо позднее Николай Семёнович, — когда родители мои купили небольшое имение в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали <...> в очень уютный, но маленький деревенский дом с балконом, под соломенную крышею».

Или выбрать другое начало? Август 1889-го. Николай Лесков в прекрасном

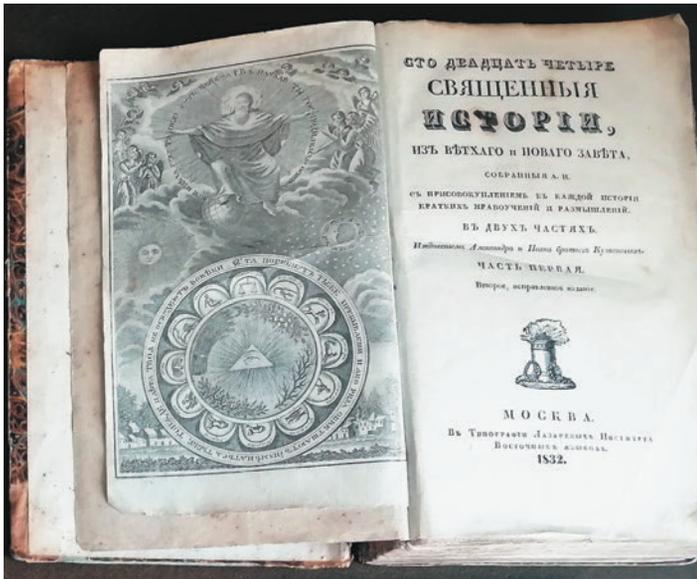
настроении идёт по Эртелеву переулку в Петербурге, шаг его, как обычно, твёрд и быстр, заглядывает в типографию А. С. Суворина (ныне Чехова, 13), где ждёт писателя неожиданная печальная весть: шестой том его собрания сочинений, который должен был увидеть свет, арестован цензурой. А ведь в этом томе помещены особенно ценимые автором «Мелочи архиерейской жизни». Николай Семёнович потрясён. Для него, стойко перенёсшего к тому времени уже не один удар судьбы, лестница суворинской типографии становится неодолимой. Нечем дышать, неоткуда черпнуть свежего чистого воздуха, в груди теснит, как будто теряется важная опора. И Николай Лесков падает. Он ещё поднимется, он ещё многое напишет, но грудная жаба не отпустит его до конца жизни.

Да, труден был путь Лескова. Николаю Семёновичу никогда и ничего не давалось легко, само собой, и критика редко одарила его похвальным словом. «Консерватор, реакционер, охранитель...» — шептали за его спиной недоброжелатели из одного лагеря. «Насменник над русскими традициями» — доносило из лагеря противоположного. А создатель «Левши», «Соборян», «Тупейного художника», «Очарованного странника» продолжал свой неповторимый и удивительно яркий путь в литературе. И потому, наверное, лучшим началом, подводящим нас к разговору о жизни и творчестве Николая Лескова, могло бы стать мудрое присловье Акилины Васильевны Алферьевой, горячо любимой и почитаемой бабушки Николая Семёновича по материнской линии (родилась бабушка Акилина в 1790 году в московской купеческой семье Колобовых): «Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют». Так и жил, так и создавал Николай Лесков свои великие произведения — с памятью об этом мудром наставлении, особенно ценном для писателя второй, полной бескомпромиссной политической борьбы, половины XIX века. Не угождая никаким политическим направлениям, не следуя идеологическим догматам, не отступая ни на шаг от своего, незаёмного, глубинного понимания действительности, шёл своей особой дорогой Николай Лесков, очарованный странник русской литературы. →



*Акилина Васильевна Алферьева,
бабушка Н. С. Лескова.*

Род Лесковых так же глубок, как могучие корни лесных деревьев на лесистой Орловщине и Брянщине. В автобиографических набросках Николай Семёнович вспоминал: «Мой дед, священник Дмитрий Лесков, и его отец, дед и прадед все были священниками в селе Лесках... От этого села "Лески" и вышла наша родовая фамилия — Лесковы».



Село это, издревле стоящее в Карачевском уезде Орловской губернии на речке Колохве, которая впадала в реку Навлю, было небогато, но крепко верой. Казалось бы, вот и прямой ответ на вопрос о православных мотивах в творчестве Лескова — первого русского писателя, создавшего роман («Соборяне»), где главными действующими лицами стали священники, представители духовенства. Но не всё так просто и односложно. Отец Лескова, Семён Дмитриевич, окончил Севскую духовную семинарию блестяще, а вот священником стать не захотел. Семейное предание гласит, что дед писателя, священник Дмитрий Лесков, столь сильно разочаровался мирским выбором Семёна, что выгнал (буквально!) из отчего дома с сорока копейками меди в кармане.

Так, собственно, Семён Дмитриевич и оказался в Орле, где сначала занимался учительством (Мария Петровна Алферьева, девушка дворянского сословия, мать писателя, была ученицей Семёна Дмитриевича), а затем стал крупным чиновником в Орловской палате уголовного суда. И считалось, кстати, что нет ни одного сложного дела, которое бы Семён Лесков, заседавший Орловской палаты, получивший за великолепную службу дворянский титул, не смог распутать. Итак, дом в селе Горохове, Третья Дворянская улица в Орле, а в Панино, в глубинах родовой истории — Лески.

Не удивительно ли — о скольких сёлах, уездах, уголках, губерниях и городах успели мы сказать, только лишь соприкоснувшись с поколенной лесковской росписью. И роспись эта, что те малые речки и лесные тропинки, сложнопересечённая. Проницательный Максим Горький, считавший Лескова художником, создававшим «для России иконостас её святых и праведников», дивился многомерности социального фундамента, позволившего писателю безошибочно узнавать интонации многих сословий, внимать разноголосию человеческих

*Книга из круга детского чтения
Николая Лескова.*

идей, мнений, верований. И правду сказать: дед — священник, отец — чиновник, мать — дворянка, бабушка, та самая Акилина Васильевна, хранящая в памяти далёкие дни Наполеоновского нашествия и рассказывавшая Николаеньке-внуку об истории монастырей, икон, о святых чудесах, — купчиха. А ещё как не сказать про няньку Лескова — Анну Степановну Каландину — чья судьба была живой памятью и примером истории крепостной России.



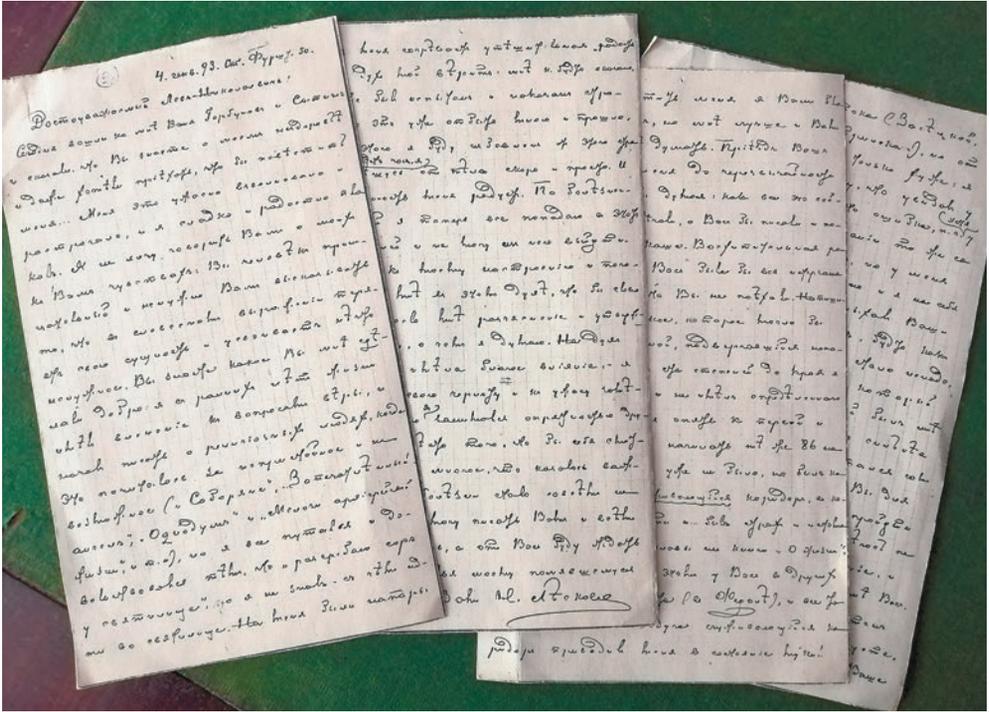
Наверное, стать иконописцем в слове мог писатель, с самого рождения вобранный многоликость и многозвучность окружающего мира, уразумевший, что красота духовная может открыться людям независимо от их сословия и национальности, по-особому относящийся к историческому прошлому своей родины и своей родни. Вера не закрывает глаза писателю, не отрываёт его от реальности, а наоборот — помогает видеть происходящее в истинном свете, отличать добро от зла, оставаться собой. «Религиозность во мне была с детства, — вспоминал Лесков, — и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком».

Соединение несоединимых, казалось бы, начал (веры и рациональности, причудливой фантазии и реалистической точности) во многом определило художественное своеобразие творческого наследия Николая Лескова. Зная, как может быть, никто из русских писателей, родной язык — во всей пестроте его словарных легенд и широте интонационных огласовок, будучи автором-словотворцем, изящно обыгрывающим примеры народной этимологии («мелкоскоп», «буреметр», «твердиземное море»), Лесков тяготеет в прозе к форме сказа. В языковой Вселенной Лескова диковинные обновлённые слова — ярче звёзд и комет. Нейтральное «документ» ничего не значит для образной системы писателя. А вот «тугамент» — скрывает в себе целую философию: сразу

Панин хутор Орловской губернии.

понимаешь, как трудно получить его и как туго без него жить на Руси, сразу веет на тебя холодком бюрократической машины. И сразу образ Левши, о котором пойдёт речь дальше, обретает дополнительный смысловой штрих: гений из народа, человек уникального дарования, величайший мастер, не знающий себе цены, и типовой «тугамент», символизирующий усреднённость, — несовместимы. Как гений и злодейство, практически.

Сказ позволяет автору наделять свободой образ рассказчика, дистанцируясь от него. То есть мнение рассказчика не всегда совпадает с авторским, что даёт определённую свободу авторскому голосу, остающемуся как бы за кадром повествования. При этом сказ хорош и тем, что автор вправе по-разному «озвучивать» персонажей различных социальных пластов, беря у родного языка взаём богатые возможности стилизации. Диалекты крестьян, профессиональные говоры рабочего и мастерового люда, заузная речь городского разночинца... Нередко в речи рассказчика разнородные языковые стихии смешиваются. Как, например, в «Житии одной бабы»: «Панок <...> был у нас на Гостомле из самых дробных; всего восемнадцать душ за ним со всей мелкотой считалось, и все его крестьяне жили тут же в его дворе на месячине, — земли своей не имели. Житьё было известно какое — со всячинкой; но больше всего донимала рюминских крестьян теснота. Пускай правда,



Письмо Николая Семёновича Лескова Льву Николаевичу Толстому.

что мужик не привык к кабинетам — всё у него в одной избе, — да по крайности там уже всё своя семья, а тут на рязинском дворе всего две избы стояли, и в одной из них жило две семьи, а в другой три. Теснота, ссоры промеж себя, ябеда с сердцов друг на друга <...>».

Природа стилизации Лескова особенная: автор, остающийся в тени, не без доброй иронии следит за разговором своих героев и за речью рассказчика, а то и не без горькой слезы. И авторскую улыбку, и авторскую слезу — читатель очень хорошо чувствует.

Сказовый стиль Лескова, слышащийся и в романах («На ножгах»), и в повестях («Воительница», «Запечатлённый ангел»), и в рассказах, как нельзя лучше подходит для работы ненатуральной, не механической. Лесков пишет, как будто играет, как будто солнышко зимнее сквозь снежок искрится, как будто секундная стрелка свершает свой вековечный кружочек. Атмосферу творческой мастерской Лескова, где каждый предмет — говорящий, хорошо передала в своих воспоминаниях русская писательница и замечательная мемуристка Лидия Ивановна Веселитская,

побывавшая в рабочем кабинете писателя, в Петербурге, на Фурштатской: «Я вошла в комнату, которая сразу показалась мне похожей на Лескова. — Пёстрая, яркая, своеобразная... Мерно тикают часы. Их что-то много, и, тикая, они переговариваются между собой. <...> И казалось мне, что стены её говорят: "Пожито, полито, поработано, почитано, пописано <...>". Я оглядывала комнату. <...> Справа лежали два Евангелия, слева Платон, Марк Аврелий и Спиноза».

Вот ещё о чём важно обмолвиться. Сказ как литературный жанр расцветает не на пустом месте. Не только Лесков, но и Павел Мельников-Печерский, и Павел Бажов (в двадцатом уже веке) с его незабвенной «Малахитовой шкатулкой» владели этим жанром ювелирно. Однако лишь Лесков, пожалуй, идею сказа доводит до художественного абсолюта. Чуткий к лексической пластике Николай Семёнович наблюдает, как вчерашние крестьяне переезжают в город, как привносят они в городскую речь особенный колорит, как развивается класс разночинцев. Городская провинциальная интеллигенция говорит на своём, неповторимом наречии, у рабочего и

мастерового люда — свои лексические замесы. И наступает время столкновения языковых стихий, взаимопроникновения стилистических начал. Речь письменная и печатная (скажем, газетная) по-своему осваивается вчера ещё малограмотными людьми, стихия которых — просторечие и диалект. Россия начинает говорить, а значит, и мыслить по-другому, не так, как прежде. Живым откликом на происходящие в стране изменения и интересен сказ. Не случайно Лев Толстой назвал Лескова самым русским «из всех русских писателей». Самый русский — то есть, возможно, самый чуткий к движению и, главное, преобразению русского языка, к жизни слова родного.

А как складывается жизнь самого Николая Лескова? Поначалу — вполне счастливо. Не получившего высшего образования и закончившего всего лишь два класса орловской гимназии (Лесков был при этом одним из самых образованных людей своего времени, слушал курсы в университетах, изучал историю иконописи), Николая Семёновича в 1847 году принимают на службу в Орловскую палату уголовного суда (в том числе и заслуги отца помогли). Вряд ли без этого служебного опыта был бы создан такой шедевр, как «Леди Макбет Мценского уезда», по-новому осмысленный в двадцатом веке гением Дмитрия Шостаковича.

Потом Николай переезжает в Киев. Живёт у своего дяди С. П. Алферьева, служит в Киевской казённой палате. Лесков влюбляется в украинскую речь, перенимает её поэтическую образность. В Киеве ждёт Николая Лескова и другая влюблённость — в Ольгу Васильевну Смирнову, дочь киевского коммерсанта. Взаимное страстное чувство охватывает молодых людей. С фотографий, сохранённых потомками, смотрит прекрасная девушка, в чертах которой угадывается благородство. А глаза кажутся загадочно-бездонными. И как разглядеть в этих любимых глазах искорку безумия, скорые беды и разочарования? Умирает первый сын Митенька, не прожив и года, появляется на свет ещё один ребёнок — Вера. Только бы радоваться, любить друг друга и растить дочь, но неожиданно семейная жизнь начинает ломаться: «Теснота, ссоры промеж себя...».

Пока ещё молодая семья живёт под Пензой, у «дяди Шкотта» (мужа тётушки Лескова Александры Петровны), и Лесков, по делам фирмы «Шкотт и Вилькенс», находится в постоянных командировках, вдоль и поперёк объезжает Россию, семейная жизнь как-то держится. Но в Москве, где Лесков начинает сотрудничать в журнале «Русская речь», становится ясно — так дальше продолжаться не может. Ольга Васильевна возвращается с дочкой в Киев, Лесков, с тяжёлым сердцем, едет в Петербург.

Лесковы (Мария Петровна, мать писателя, и его брат Алексей) зовут Ольгу к себе, предлагают помощь, но она в последнюю минуту отказывается. Со временем выясняется, что женщина страдает душевной болезнью. Николай Семёнович всегда будет хорошо отзываться об Ольге. Он устроит её в отдельной палате петербургской психиатрической больницы св. Николая на реке Пряжке (попечитель больницы сам С. П. Боткин). Николай Семёнович будет навещать Ольгу, приносить фрукты, сладости, цветы. И, конечно, сделает всё, чтобы дочь Вера получила хорошее образование в киевском пансионе. Зачастую остро нуждаясь материально, Лесков не пожалеет последних средств для дочери Веры, но так и не сблизится с ней по-отцовски: его советов девушка слушать не станет. «Вера такая беспомощная, — напишет Лесков брату Алексею, — что её устроить — это всё равно, что душу от смерти спасти».

Ненадолго, но жизнь Веры всё же устраивается. Она выходит замуж в 24 года за военного, молодого поручика, Дмитрия Ивановича, имеющего шестьсот десятин земли в Каневском уезде Киевской губернии. Есть каменный дом. Есть фруктовый сад. Лесков рад: дочь устроена, появляются внуки, Наталья и Ярослав, но имение разоряется, и Вера с детьми приезжает в Петербург к отцу. Так и будет оставаться в поиске самой себя дочь Лескова — душа мятущаяся, натура талантливая...

Любопытно, что именно в Киеве Лесков встретит и вторую любовь — Екатерину Степановну Бубнову, мать четырёх детей. Екатерина, как и Николай, будет несвободна в эту пору. Екатерина Степановна родит Лескову сына Андрея, ставшего впоследствии блестящим биографом писателя. Николай Семёнович любит всех детей



Екатерина Степановна Бубнова.

равно, не делит на своих и чужих. Вместе они пробудут с 1865 по 1877 годы, двенадцать счастливых лет. Но и с Екатериной Степановной расстанется Лесков. Жена уедет в Киев и увезёт всех четверых своих детей, оставив с отцом Андрея...

В космосе Лескова, создавшего «Собрания», которыми зачитывалась вся Россия, воспевшего человеческое в человеке, подарившего людям тепло надежды и веры, иконописца отечественной словесности, просиявшего лучом надежды, бывает темно и безнадежно одиноко. Неужто и впрямь, тогда, в Эртелевом переулке, на лестнице суворинской типографии, за пять лет до конца земного своего пути, упал, схватившись за сердце, Николай Лесков, только лишь из-за проделок цензуры и злобного шепотка недоброжелателей? Неужели подкосили его слова талантливого критика-радикала Дмитрия Писарева: «...найдётся ли теперь в России <...> хоть один журнал, который осмелился бы напечатать хоть что-нибудь, выходящее из-под пера Стебницкого (ещё один псевдоним Лескова. — Прим. авт.) и подписанное его фамилией, и во-вторых, найдётся ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украша-

ющем себя повестями и романами Стебницкого». Так Писарев клеймил Лескова за антинигилистический роман «Некуда» (1863—1864 гг.).

Или нестерпимая сердечная боль настигла Николая Семёновича после беспочвенных обвинений в доноситељстве? Да, было и такое! Лесков имел неосторожность поместить публицистическую статью о захлестнувших Петербург поджогах в газете «Северная пчела»; Николай Семёнович, ставший свидетелем избиения студентов горожанами, считавшими, что радикально настроенные молодые люди поджигают их дома в политических целях, потребовал от полиции или представить доказательство виновности конкретных лиц и принять надлежащие, предусмотренные законом меры, или защитить студенчество. Полиция промолчала, а вот «либеральная жандармерия» (образный оборот Семёна Франка) в лице журналистов, критиков, писателей левого толка — откликнулась живо и жестоко. Руки Лескову-Стебницкому не подавать! В одном журнале с ним не печататься! И потрясённый Лесков впервые покинул тогда Россию — в сущности, изгоем.

«Если родишься в России и сунешься на писательское поприще с честными желаниями, — говорил о литературной судьбе Лескова публицист и очеркист Григорий Евлампиевич Благосветлов, — проси мать слепить тебя из гранита и чугуна».

Лесков же, несмотря на то, что порой мог потребовать гонорар в какой-нибудь задолжавшей редакции самым решительным образом (начинал писатель с журналистики, с очерков, газетных заметок), был, в сущности, не то что без брони — без кожи. Так что не могли, конечно же, пройти бесследно для него подобного рода потрясения.

Но нельзя сбрасывать со счетов и личные горести, лёгшие на сердце писателя не менее тяжким камнем. «Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют».

Подумалось: сегодня, даже после многочисленных экранизаций и замечательных книг (Андрей Лесков, Лев Аннинский, Майя Кучерская), после блестящих и очень нужных современной науке о Лескове статей доктора филологических наук Аллы Новиковой-Строгановой, после потрясающе интересных экспозиций и поистине подвижнической работы Дома-музея Н. С. Лескова в Орле, борьба за

Лескова, за его светлое имя и за его новое, современное прочтение не потеряла своей актуальности. Лесков, Любитель часов, остаётся писателем загадочным и в известном смысле закрытым. Писателем будущего.

С фотографии 1881 года, года создания и публикации главного, наверное, произведения Лескова — «Сказа о тульском косом левше и о стальной блохе», смотрит на нас очень усталый, немного замкнутый, одинокий, как бы ушедший в себя человек, видящий насквозь нигилистов разных мастей, защитно скрестивший на груди руки, но не открестивший от главной своей подвижнической идеи: сохранить в момент исторических сломов, в том числе и грядущих, национально ценное, веками уложенное в русском человеке и в почве народной культуры — любовь ко всему существу, незлобливость, верность родной земле да истинную веру. С «Очарованным странником» и «Соборянами» подходил Лесков к своему «Левше», с богатым опытом газетно-журнальных баталий, с неугасшим очерковым запалом. С жестоким опытом российской литературной жизни. А ещё — с грузом личностных потерь и утрат. Николай Семёнович всё своё мастерство, всё знание народного языка и народного миропонимания вложил в знаменитый сказ. «Где стоит "левша", надо читать русский народ» — точнее Лескова не объяснишься.

Левша в нашей культуре — имя нарицательное, конечно, собирательное, то есть собравшее в себе золото мастерового люда, жар спорой работы, лад трудового ритма. Про умелого, у которого в руках всё спорится да ладится человека, восклицаем мы с гордым прищёлком: «Да он настоящий Левша!» Но ведь Левша — вовсе не имя, а только прозвание. Вдумаемся: Онегин, Чичиков, Обломов, Печорин, Платон Каратаев, Иванушка-дурачок наконец, — у всех типажей, у всех наших архетипов есть имя. И только один Левша на имперский вопрос «— И твоё имя тут есть?» отвечает загадочно: «— Никак нет... моего одного и нет». И дальше следует ключевой для всего сказа обмен репликами:

«— Почему же?

— А потому... что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, — там уже никакой мелкоскоп взять не может».

Спрашивает Николай I, поборник строевой дисциплины, получивший прозвище Николай Палкин, при котором в имперских кузницах выковывалось «мрачное семилетие», при котором не стало Пушкина и Лермонтова, который до конца жизни опасался тишины Сенатской площади и который мог себе позволить сделать такое вот распоряжение с пояснением: «Виновных

Дом-музей Николая Семёновича Лескова в Орле.

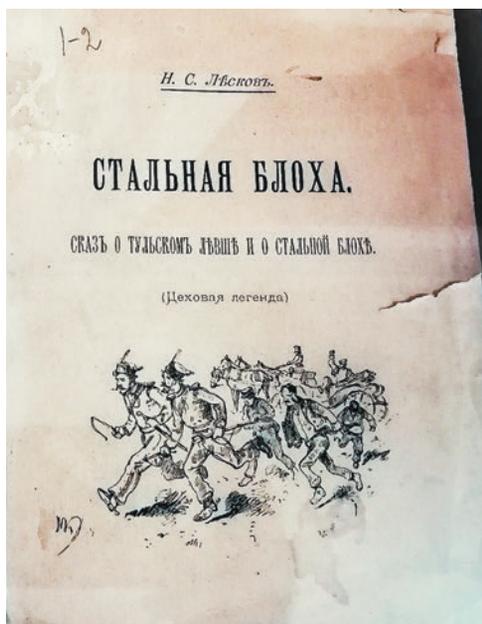


прогнать сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало и не мне её вводить».

Отвечает же босой и косой Левша. По сюжету сказа его, тульского мастера, сумевшего вместе со своими тульскими соработниками, подковать блоху, приводит во дворец к императору донской казак Платов — Николаю интересно поговорить с таким талантливым мастером. «Его бы приодеть надо — он в чём был взят, и теперь очень в злом виде», — говорит Платов. На что государь отвечает: «Ничего — ввести как он есть». А «как он есть»? Уж точно не в парадное одет! Потому что Платов не поверил тульским мастерам, когда они показали ему свою невидимую без «мелкоскопа» ювелирнейшую работу. Он схватил Левшу «за шивороток» и «кинул его к себе в коляску в ноги», чтобы тот за всех перед императором ответ держал.

Левша и держит. И ему не нужно соответствовать, так сказать, дресс-коду эпохи.

Николай Павлович, император-инженер, говорит с ремесленным гением из народа — вот ещё какой подтекст у этого разговора. С безымянным гением. Если пушкинскому Евгению в «Медном всаднике» стало всё-таки страшно от неслыханной собственной дерзости погрозить пальцем тому, кто «уздой железной Россию поднял на дыбы», то Левше бояться нечего, ибо его



самого вроде как и нет, и «никакой мелкоскоп» его взять не в силах. «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застёгаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится». И государь обнимает Левшу, неубранного и в пыли, целует его. Получается, что Левша и императора подковывает, то есть смягчает его сердце, даёт возможность проснуться в нём человеку. Точнее — победить в нём человеку.

Но как же всё-таки могли звать тульского мастера? Может, Алексеем, как его прототипа Алексея Михайловича Сурнина, за

Титульный лист издания 1893 года, Санкт-Петербург.



свою короткую жизнь успешного многое перенять из английского заводского опыта и укоренить европейские технические достижения на родине? А может, Ванькой рекла, Иваном-дурнем, Иваном-простотой? А может — Василием, блаженным конечно? Или — Петькой, мучеником Петром?.. Левша, он русский святой, русский мученик, и его полувыдранные растрёпанные волосы светятся нимбом. Левша бескорыстен, ему неведома выгода, его невозможно подкупить или утратить. Левша не знает себе цену, потому что дар его — бесценен. Оценивать работу Левши — всё равно что приращивать ценник к рублёвской «Троице».

Однако снова вопрос, напрашивающийся сам собою. Чему же учит лесковский шедевр? И допустимо ли брать фигуру

Дом-музей Н. С. Лескова в Орле, кабинет писателя.

тульского оружейника за ценностный ориентир? Да, перед нами бесконечно талантливый, бескорыстный мастер, которому все европейские мастера и в подметки, что называется, не годятся. Но он из тех безвестных и безымянных, кто пропадает «ни за грош», кто никогда не сможет «подать себя», устроиться, обзавестись нужными связями. Более того: талант Левши в некотором смысле бесполезен, так как блоха — и это очень важный микроскопический гвоздик в сюжете — перестаёт танцевать, когда становится подкованной. Аглицкая конструкция, по существу, ломается, приходит в практическую негодность.

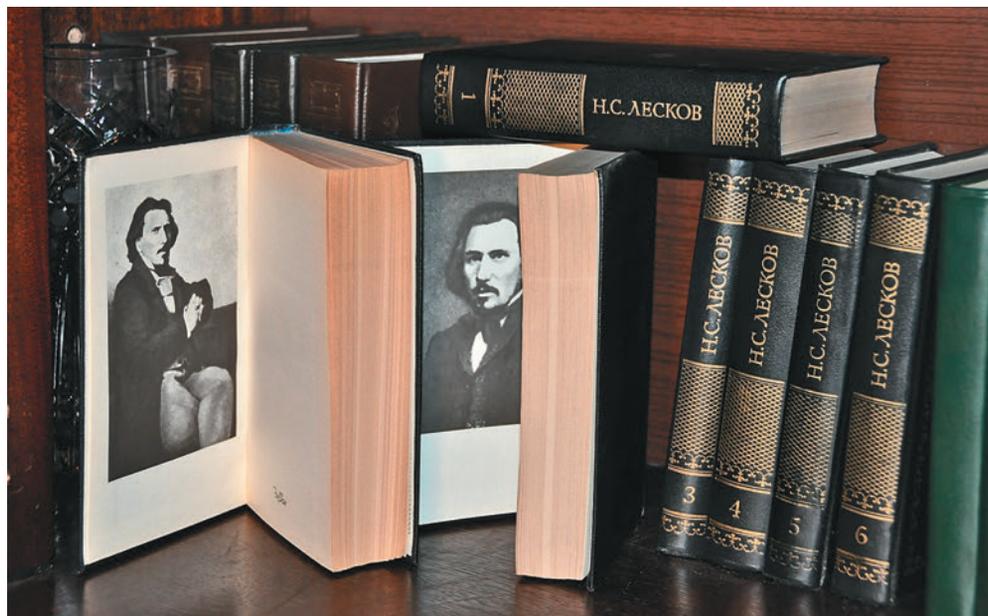


Фото Николая Домрина

(Человек в императоре долго побеждать не может. Властитель — это вам не Василий Петрович Богословский из рассказа «Овцебык», восклицающий самоотречённо: «Людие мой, людие мои! что бы я не сотворил вам?.. Людие мой, людие мои! что бы я вам не отдал?» Подкова человечности, тавро человеколюбия будет мешать механическому танцу, если только не превратится власть имущий в старца-отшельника и не продолжит свою жизнь тайно где-нибудь в далёкой Сибири, как, по легенде, произошло с прещественником Николая...)

Истинный талант, талант в чистом виде, никогда не бывает практическим и всегда входит в противоречие с прагматической реальностью. А ну как если свезло бы нашему гению, и не разбилась бы его бедовая головушка «о парат», и оклемался бы он в больничке? Разве и тогда, при таком счастливом ходе судьбы, не ходил бы Левша по краю пропасти? Тут как тут они, и завистники, и ярые поборники заграничных диковинок, готовые преклоняться перед чужими куцыми вывесками, прогоняя из культуры исконно русское, национальное, вырывая — уж не волосы — а целые деревья с корнями из отеческой почвы. И бутылочка бездонная тоже тут, рядышком. И безалаберность наша извечная неподалёку...

Итак, Левша лишён всяческой прагматики. Поэтому, разумеется, типаж Левши впадает в известное противоборство с ми-

ром потребления. Как же толковать Левшу сегодня, как высветлить его внутреннюю гармонию?

На помощь может прийти масштаб. Сказ Лескова весь построен на игре масштабами, на превращениях малого в великое, крошечного — в глобальное. А что если просто подержать в горсти немного кирпичной пыли? Не обретут ли тогда главные, заветные слова «косого левши» удельный вес, не прочувствуются ли нами, сегодняшними, привыкающими к проекциям и отвыкающими от живого материала, в том числе и языкового: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся».

Кирпичные пылинки — это Млечный Путь всего лесковского сказа, неисчислимые вечные безвестные планеты-странники, среди которых пигмеями выглядят и император, и атаман Платов, и граф Чернышёв. И как-то убого, жалко начинает звучать буржуазная механика западного мира, в котором «на счёт казённого строго». А вот решимость Левши во что бы то ни стало рассказать на родине про узанный секрет, воля, позволяющая ему не выдать секрета полшкиперу, делает нравственный выбор героя и всеобъясняющим, и всеобъемлющим. Не о том, как избежать смерти, думает Левша, не о том заботится, чтобы «тугамент» свой вернуть, а о том, чтобы

сородникам своим помочь в последнюю минуту. Толчёный кирпичик — это же не физическая величина, а символически-нравственная. Не чистить ружья кирпичом — значит остановиться и задуматься. О трагическом отставании нашей страны от западных соседей в технической оснащённости, о горестных плодах крепостного права, пожираемых нами и поныне, о раболепии и чинопоклонстве, о пустословии, о бессмысленной муштре, о великой стране России, которая бывает так жестока к детям своим...

Это же горечь не выразить какая, что человеческие слова о Левше не русский говорит, а англичанин: «У него хоть и шуба овечкина, так душа человеческая». Полшкиперу-иностранцу не всё равно! А нам?

«Левша» — сердце нашей словесности, питаемое сказами и легендами, бьющееся силой устных преданий и передаваемых от поколения к поколению историй; это гимн всякому одухотворённому труду; орнамент «цеховой легенды» сродни тончайшему изукрашению «партикулярных изделий», выполненных «златокузнецами» тульскими — шкатулок, шахматных досок, чернильных приборов, глобусов с секретами. И встают за бесфамильным «Левшой» былые мастеровые фамилии: Захаев, Гольяков, Ляпин, Свешников, Боголепов... Но не только красота воронения, точность огранки, пар «безотдышной работы» ощутимы у Лескова, но и «безотдышная» боль-обида слышна за народный талант, что о себе никогда не печётся.

Неважно, что не услышит безвестного и безымянного своего сына родная сторонашка, неважно, что найдёт Левша последний приют в Обухвинской больнице, где «неведомого сословия всех умирать принимают». Главное в другом. В том, что прозвучали слова правды. А что не расслышали их, кому следовало, — так это не Левши беда, а наша с вами. Лесков прямо об этом рассказывает. И мы сами вдруг, незаметно для себя, оказываемся на фоне великого умельца, подковывающего космическую блоху.

И уже не «мелкоскоп», а телескоп надобен, чтобы рассмотреть хорошенько образ Левши.

Да вот он, на шаткой палубе, посреди бурного Твердиземного моря, глядит на тёмные осенние волны и всё спрашивает:

«Где наша Россия?» Всё «к отечеству смотрит»...

Февраль 1895 года. «Пожито, полито, поработано, почитано, пописано. Пора и отдохнуть». Последний день рождения писателя. Сын Андрей приводит к деду, на Фурштатскую, 50, кв. 8, Юрия — двухлетнего внука Лескова. Николай Семёнович преображается, он словно чувствует себя помолодевшим, играет с ребёнком, сажает его на письменный рабочий стол, показывает часы с курантами... И замкнутость, и грусть в глазах куда-то исчезли. Но болезнь сердца, конечно, никому не делась. Через несколько дней Лесков, почувствовав себя и правда лучше, решает совершить прогулку на санях, как это всегда любил, по Таврическому саду. День солнечный, тихий и морозный. Николай Семёнович жадно глотает свежий холодный воздух, дышит полной грудью и, как знать, может быть, вспоминает, как пил живительную родниковую воду когда-то в далёком детстве. «Непростительная неосторожность» — покачает после головой доктор...

И нам с вами тоже впору покачать головой: ведь мы не так хорошо, как следовало бы, знаем и ценим астероид Лескова. А ведь сколько дал миру писатель — даже помимо художественных произведений! Лишь один пример. Татьяна Юрьевна Лескова, дочь того самого двухлетнего мальчика, в будущем известного дипломата, с которым играл в последний свой день рождения писатель, стала выдающейся балериной и создала балетную школу в далёкой Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро, выступая под сценическим именем Тая. Так что в космосе Лескова есть место и вдохновенному окрылённому балетному «па», пленившему далёкую заморскую страну.

Доктор филологических наук Иван ПЫРКОВ.

Автор и редакция благодарят Веру Витальевну Ефремову, директора БУКОО «Орловский объединённый государственный литературный музей И. С. Тургенева», и Ольгу Сергеевну Аракчееву, заведующую Домом-музеем Н. С. Лескова, за предоставленные фотографии, а также всех, кто помог создать этот материал.